



В. В. РОЗАНОВ

На лекции о Достоевском

Говорят, диалектику создали Платон и Гегель; но гораздо раньше их — хамелеон, неуловимо для глаза переменяющий цвета свои и не имеющий никакого определённого, постоянного цвета, — дал собою пример, так сказать, органической диалектики. Что такое диалектика? Это «да» и «нет», переходящие друг в друга, помогающие друг другу, дружелюбные друг с другом, хотя они и ожесточённо спорят. Почтенна ли диалектика? Она есть во всяком случае изумительная вещь, а что касается почтенности, то об этом могут быть споры. Флюгер ведь тоже диалектичен, тогда как бревно, лежащее на земле, есть образец «честного уклонения от виляния». Бревно, как и Адам до грехопадения, — невинны, честны, позитивны. С этим можно было бы примириться, если бы это не было очень скучно. Ева заскучала в «честном раю» очень скоро, и диалектик-змея без всякого труда вывел её оттуда в прискорбное, но и интересное земное существование, — где и началась всяческая «диалектика»...

Умы и сердца, читатели и писатели тоже бывают диалектичны и позитивны, один — как бревно и другие — как ивовый прут. Оставим в стороне позитивных и обратимся к диалектичным. Образец величайшего диалектического писателя у нас — и, может быть, во всей всемирной литературе — есть Ф. М. Достоевский. Вот уж гибок... Так гибок, что хоть бы и поубавить. Сам страдал от гибкости: ибо это что-то адское — ни на чём не остановиться, ни на одном утверждении не удержаться, со всякого тезиса слетать стремглав, лететь, лететь — и вылететь в утверждение, совершенно обратное этому тезису. И всё это не только умом, но сердцем, пафосом, восторгом, умилением. Что такое революция? На это вам отвечает Петруша Верховенский в «Бесах». Кушает

холодную курицу, дожидаясь самоубийства своего приятеля Кириллова. «Однако же» (всякая диалектика начинается с «однако») ещё что такое революция? Это и Раскольников. Ведь несомненно тоже он не бытовик, не человек определённого строя жизни, а революционер, хоть и в первой фазе своего бунта. Значит, и Верховенский, и Раскольников — вот что такое революция. Согласитесь, что тут нельзя сказать ни «да», ни «нет»; согласитесь, что здесь «да» и «нет» сплелись в чудовищное единство. Целомудренна ли проституция? У всего мира не было на это двух ответов: но Достоевский показал нам Соню Мармеладову и этим христианским образцом разбил ветхозаветное «не прелюбодействуй»; да разбил так, как этого и Евангелие не смогло сделать. «Праведная блудница» стала возможным словом в нашем языке. Есть ли что положительное в пьянстве? Но через рассказ Мармеладова Достоевский заставил слушать всю Россию, наконец, весь мир — исповедание пьяницы, слушать, замирать и плакать над этим исповеданием. В Федьке-Каторжнике («Бесы») и в некоторых страницах «Мёртвого дома» он примиряет нас и с убийцами; а целый ряд его героев, любимых или по крайней мере очень им уважаемых персонажей, начиная с Свидригайлова и кончая Ник. Ставрогиным, выказывают такие поползновения чувственности, за которые мы каждого бы казнили, а этих идейных мудрецов невольно щадим; мысленно беседуем с ними, в высокой степени ими заинтересованы. Достоевский страшно расширил и страшно уяснил нам Евангелие. С давних пор его называют «великим христианским писателем», — но это имеет особенный и острый смысл: он первый художественно, в образах, в живописи, и в столь реальной живописи, показал нам ненаказуемость порока, безвинность преступления, показал и доказал великое евангельское «прости»... «Прости всем и всё и за всё»... Но так как он диалектик, то около этого «простим всё» он гибкою живописью своею возбудил и такое негодование, такое озлобление к огромным категориям человеческих личностей, как этого тоже не удавалось никому: совершенно по-евангельски, где тоже, в заключение «простим всё», показан по-ту-светный огонёк, вечный, неугасимый, где будут гореть и не сгорать «пьяницы и любодей»...

Почитать Достоевского — за голову схватишься. «Ничего не вижу», «полная тьма», «дня и ночи не различаю». Но одно он совершил: «праведное», позитивное бревно, лежавшее поперёк

нашей русской, да и европейской улицы, он так потрянул, что оно никогда не придёт в прежнее спокойное и счастливое положение уравновешенности. Гений Достоевского покончил с прямолинейностью мысли и сердца; русское познание он невероятно углубил, но и расшатал... Можно сказать, он уничтожил совершенно не только таких писателей, как Михайловский, Писарев, таких поэтов, как Надсон, таких публицистов, как всё «былое» «Вестника Европы», но он сделал невозможным в будущем повторение или воскресение таких наивностей, таких обухов, таких брёвен... Оговоримся, что тяжёлою громадою нашего общества Достоевский не только ещё не понят, но и не прочитан внимательно, задумчиво; и, напр., «честные курсистки» и «благородные учительницы», как и лохматые студенты, с молниями в глазах, просто-напросто понятия даже не имеют о Достоевском и лишь в меру этого и от этого захлёбываются Михайловским и Надсоном.

Но, заговорив о диалектике, я не без умысла назвал хамелеона как величайшего и естественного «диалектика», назвал, наконец, «флюгер», назвал, наконец, беса. Всё это очень серьёзно. Диалектика есть гениальная вещь, но диалектика есть и бесовская, отчаянная вещь. «Все концы со всеми концами сходятся», — и пресловутое карамазовское «всё позволено», т. е. нет греха, не надо добродетели, «могу всё, что хочу», — есть только естественное и притом реальное заключение диалектики, есть во все не вывод Ивана Карамазова о мире и жизни, а вывод самого скорбного Фёд. Мих-ча о мире и жизни, но лишь угрюмо сказанный, а не счастливо сказанный. А ему случилось и счастливо говорить этот же вывод. Как будто карамазовское «всё позволено», до отцеубийства включительно, не есть то же самое, что умиленный лепет Кириллова о том, что «все хороши», что «вот ползёт паук — я и ему молюсь», «если кто изнасилует ребёнка — то и он хорош». Но у Кириллова это сказалось в евангельских тонах, соответственно кроткому, евангельскому сложению всего типа, всей его души, а у Ивана Карамазова — мрачно; но мысль — одна. И явно, что уже угрюмым сказыванием Иван Карамазов отрицает эту бесовскую мысль, а «святой» Кириллов предлагает эту мысль в самой оболстительной «евангельской» форме: «все обьемемся», «все простим друг друга», «все возлюбим всех», «растворим двери темниц, отменим суд, казнь... Вот и Федя каторжник, и Соня, и отец её, и отцеубийца, и... и... И нет конца.

Да, чёрт знает, может быть, и в самом деле хорошо? Ведь в Священном писании, и Старом и Новом, что-то такое брезжит на конце всех концов? Но совершенно же несомненно, что при таком «отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня» — летят вверх тормашками все царства, политики, права, летят прахом все цивилизации, Рим становится не мудрее Бедлама, Греция не выше Капернаума, меркнут Сократ и Аристотель, меркнет и становится не нужен разум человеческий, наука всемирная, да не нужна и самая добродетель, кувыркаются рай и ад, и вообще «всё потрясается», а звёзды, путеводные огоньки человечества, осыпаются с неба, как пуговицы с изношенного сюртука... всё это было бы очень величественно и красиво, если бы не иллюстрировалось Тим. Ник. Грановским, который в изгибах этой диалектики кушает одну котлетку с Пав. Ив. Чичиковым и Виссарионом Г. Белинским, который перемигивается с Дубельтом.

— Вот, ваше превосходительство, как вы меня на том глупом земном свете в бараний рог согнули. Стоило ли стараться?..

— Да и я вижу теперь, что совсем не стоило стараться: ибо в по-ту-светном откровении тот, кто гнёт в бараний рог, является выразителем только разных сторон одной неуловимой истины. Так что теперь, в случае нового воплощения, я могу писать критические статьи не хуже вас, а издатели будут печатать «полное собрание сочинений идеалиста Дубельта», и публика будет их читать не менее охотно, чем ваши, ибо, по диалектике, ведь «всё равно» и «все друг с другом обьемемся»...

Дубельт-не-Дубельт, ну а, например, Константин Леонтьев: идеалист по плечу Достоевскому и вместе с тем реакционер мрачнее Дубельта.

Будет ли это необыкновенно хорошо или будет чудовищно отвратительно — ничего нельзя сказать. И что горько — воистину нельзя сказать. «Ослепли», «не видим»... Вот resume громадной работы Достоевского, работы гениальной, страшной. Его Грановский переходит в Чичикова («хамелеон»), у него Господь Бог играет в преферанс с Мефистофелем. «Ничего мне так не хотелось бы, — говорит Ивану Карамазову чёрт, — как перевоплотиться в семипудовую купчиху и ставить бы толстые восковые свечи на обедне». Это — текст, это — точное слово Достоевского: ну, и не нужно длинных комментариев, чтобы эту «мечту» беса переложить на картину действительности — и тогда очень умильные сцены, к каким мы привыкли, неожиданно окажутся главами

не «божественной», а демонической оратории. Достоевский слишком далеко хватал разнузданною фантазией, и к этим граням отрицания и сомнения мы не решаемся ступить за ним.

При этом, что особенно ужасно, так это то, что Достоевский совершил свою диалектику не логически, не в схеме, как Платон и Гегель, а художественно: и через это он смешал безобразия и красоту. Как resume всей его работы, у него и мелькнуло в «Бр. Карамазовых», что «идеал содомский переходит в идеал Мадонны: и обратно, среди Содома-то и начинает мелькать идеал Мадонны». Это Митя Карамазов говорит Алёше и добавляет: «Снилась ли тебе, мальчику, эта истина?» У Достоевского это сказало с таким экстазом, с таким глубоким проникновением, что, несомненно, тут не в Мите и не в Алёше дело, а в самом Фёodore Михайловиче — это его глубочайшая и задушевная мысль, это его сумасшествие, это его евангелие, «новое благовестие».

Замечательно, что к концу жизни Достоевский становился всё гениальнее и всё расстроеннее, гений его нарастал, но и безумие его всё возрастало... Он явно «сходил с ума», не в медицинском смысле, а вот в этом гегелевском, платоновском, или, как говорит народ, в смысле того, что у него «ум за разум стал заходить», ум и суждение перешли нормальные границы суждения и ума... «Широк человек, слишком широк — я бы сузил», — отчаянно говорит он в тех же «Карамазовых»...

И наконец, что любопытно и поучительно, так это то, что не Достоевский «повернул так и эдак» свою диалектику, не он «показал» нам то-то и то-то, а в нём повернулась так диалектика, в нём нам дано было увидеть «все концы, сошедшиеся со всеми концами». Поднимите «Преступление и наказание» к свету вечности, и что вы там увидите, за выбросом всех подробностей, в единственном исключительно сюжете: «праведного», «убийцу», «святую», «проститутку». Вот — суть; остальное — аксессуары. Т. е. что же? Возможность, нравственную возможность праведного убийства и святой проституции.

Голова кружится.

Но не то же ли мы видим и на дне евангельских глубин: это — разбойник, распятый направо от Спасителя, и блудница, помазавшая миром Его ноги. Тоже — умирительно, растрогало весь свет. Ну, да ведь и Раскольников оттого волнует нашу мысль, что он привлекателен, и Соня притягивает сердце оттого, что она воистину «свята»... В этом-то, что всё это — истина,

и заключается великий трагизм целого мира, и заключается возможный «провал» всех цивилизаций. Разве Евангелие не повалило в яму и Рим и Грецию, как щенков? Сказано — «прейдёт лик мира сего». Кстати, это «прейдёт» с такою любовью нет-нет да и повторит Достоевский. Очень любил он это «прейдёт». При всей ненависти к революции, он так охотно служил «отходную» нашей цивилизации.

Одним из самых любопытных вечеров петербургского Литературного Общества в этот год было чтение г. Столпнера о Достоевском, прочитанное перед летним перерывом. Сперва путаясь и вообще читая очень некрасиво, во второй половине длинной своей лекции он высказал мысли очень интересные об отношении Достоевского к прогрессивным идеям передовой части нашего общества. «Достоевский есть чрезвычайно опасный враг нашей интеллигенции, — приблизительно говорил он. — Он отрицает все главнейшие идеи интеллигенции, он постоянно борется с нею. Борьба со свободой, гражданственностью, наукою, борьба с самим разумом человеческим стала постоянным стимулом Достоевского, с самого времени его ссылки в каторгу, где с ним произошёл переворот, о сущности и причинах которого мы очень мало знаем. Борьбу эту Достоевский ведёт с чрезвычайным терпением, с чрезвычайной настойчивостью, с значительной хитростью или тактичностью, с гениальной проницательностью и силой. Он составляет действительную угрозу русскому прогрессу. Критики, как Добролюбов и Михайловский, незначительны, ничтожны в борьбе с ним, хотя Михайловский и указал на его опасность, предугадал его опасность. Он определил Достоевского как «жестокий талант», и, за всеми оговорками, все должны признать долю правильности в этом определении; все, только в иных терминах, признают в Достоевском эту мрачность, эту суровость, эту, в последнем анализе, жестокость. Но об идейном содержании Достоевского Михайловский выразился только осторожно, что он оставил в своих творениях «множество очень эксцентрических мыслей». Определить в этих уклончивых словах идейное содержание Достоевского — значит признать себя бессильным разобратить их, бороться с ними. И Михайловский, как и вообще его школа мысли, школа мысли позитивно-социалистической, действительно бессильна бороться с Достоевским. В «Записках из подполья» дана такая критика социализма, которая мало что оставляет от социализма и с которою должны согласиться и со-

гласились научные критики его». Так приблизительно говорил лектор и добавил, что «русская интеллигенция, чтобы спокойно и с чувством правоты идти к своим святым задачам, к задачам лучшей гражданственности, свободы и просвещения, — должна будет непременно пройти через Достоевского и победить Достоевского».

Мысль верная, хотя нуждающаяся во множестве оговорок, дополнений и в заключение даже в оспаривании. «Одолеть» Достоевского едва ли сможет русская интеллигенция, ибо «одолеть» и сам себя не мог Фёдор Михайлович, хотя он был величайший, небывалый русский интеллигент, и притом типичный в своей житейской захудалости, в своих нервах, в своём угаре и сбивчивости. Если он «сам себя» не мог одолеть, — интеллигент такого роста, то куда с ним меряться русским студентикам, журналистам, критикам, кой-каким профессорам по церковному праву или по государственному праву, и проч. и проч.? Но «пройти через Достоевского», — этот главный пункт чтения безусловно правилен. Мы только думаем, что «проходя через Достоевского», общество никак не сможет остаться в устоях приблизительно Салтыкова — Михайловского — Стасюлевича. Дело в том, что нужно же и умному человеку иметь на себя оглядку, и нашим заядлым либералам и рационалистам, от имени которых говорил лектор, нужно просто признать некоторую скудоумность или, вернее, скудо-душевность в своих очень умных, очень просвещённых, очень гражданских идеалах. Они просвещены, но им надобно расти; они умны, но нисколько не гениальны. А история и, наконец, те глубины суждения о ней, к каким подвёл нас Достоевский, требуют гениальности. Её, и никак не меньше. Если Достоевский повалил такое множество талантов и талантливости, если, например, он совершенно упразднил Белинского, сделав абсолютно неинтересным, абсолютно копеечным всё его идейное содержание, оставив от «великого критика» только схему и шкурку «молодого порывистого идеалиста», — то и для «борьбы с собою» и «преодоления себя» он требует гения, сердцеведения, проницаний таких, каких у волнующейся нашей интеллигенции вовсе нет. Отчего Столпнерам и русской интеллигенции не формулировать задачу скромнее: «оглянемся на себя, переглядим свой багаж и признаем, что в нас много плоско-глупого, а в идеалах наших много лживого, гнилого». Свобода свободе — рознь, прогресс прогрессу — рознь, граждан-

ственность гражданственности — рознь. Пресная, шаблонная, рационалистическая — она не есть та свобода и тот прогресс, не есть то просвещение и та наука, о которой мечтал русский народ, русский инок, русский солдат, ну, хоть Платон Каратаев, о которой мечтали Гёте и Шиллер, Лейбниц или Спиноза. Словом, схемка Щедрина — Писарева — Столпнера — «Русского Богатства» ужасно скудоумна, нищенска, за нею никто не пойдёт, никто за неё не принесёт жертвы... А ведь когда лектор говорил о тех «драгоценностях», за которые должна вступить русская интеллигенция и ради их «преодолеть Достоевского», то он говорит именно об идейках от Мякотина и Пешехонова до себя, и ни о чём другом. Это обычная рациональная, журнальная гражданственность, это журнальная полунанука, это «свобода» наших митингов. Никто не заподозрит меня в любви к монахам и монашеству: но «свобода инока» в её поэтических оттенках, в её душевных оттенках, в её прелести и глубине, в её личности и человечности, для меня священнее свободы парижских бульваров и русских социал-демократических митингов. Согласятся ли со мною в этом вкусе наши рационалисты? Нет. А между тем я враг монашества: таким образом, и с ними я никогда не соглашусь в качественной оценке, в качественном определении требующейся свободы; и скажу просто, что ихняя «свобода» мне ни на что не нужна, что за неё я не заплачу двух копеек. То же — о мудрости, то же — о прогрессе. А в «качественном определении» идеалов — всё и дело; всё дело в «душевных оттенках». Суть не в том, чтобы «написать комедию», т. е. вот столько-то действий и с такими-то смешными персонажами, и написать как Грибоедов, как Фонвизин, как Мольер или Шекспир. Суть во вкусовой, в художественной стороне вещей, и это не только в литературе, но и преимущественно и главным образом в жизни, в реальной истории. Вот это-то вкусовое отношение к вещам, вкусовая оценка вещей, вкусовой идеал будущего, какой выработался в русском образованном обществе, в этом «ведущем колесе» нашей истории, — решительно не высок, мелочен, вульгарен; и оно решительно не только не может «переехать через Достоевского», задавив его собою, но и само разбивается вдребезги, встречаясь с ним. Я повторяю то, что сказал выше: и по жизни своей и по роду идей, по всему кругу интересов и работы Достоевский был типичнейший русский интеллигент — бездомный скиталец, не имеющий в багаже своём ничего, кроме идей, кроме разгорячён-

ной головы, кроме мировых вопросов, тревог. Но в нём эта интеллигентность достигла кульминационной точки, переломилась и умерла. Тут именно и выступает сгиб в нём, отсюда происходит его диалектичность: в белой стороне, надеющейся, светлой, он восходит выше и выше, до «всё простим», до «обоготворим паука» и т. д., и т. д. Выступает апофеоз проституток, каторжников, убийц, алкоголиков. Пока, преломившись в некоторой точке, он не летит отсюда вниз, к утверждению всех реальных столбов действительности; и его словцо, что «вещественный огонёк древнего ада надёжнее проблематических мук совести в новом, преобразованном по-интеллигентскому, аду», — содержит собственно возвратное требование всех запоров, цепей, замков, какими в старом обществе удерживались в границах преступления и разрушительные инстинкты человека. Достоевский в одном лице соединил величайшего разрушителя и величайшего утвердителя; он довёл в себе революцию до последней анархии, и он же явил в себе величайшую санкцию наличного, сущего бытия. Таким образом, путь «интеллигентности» пройден им до конца: и после него интеллигенция потому стала вырождаться, мельчать и мельчать, переходить от Кавелиных и Соловьёвых к Михайловским и Столпнерам, что вообще тут нечего больше делать, нечего нового говорить, а повторение прежнего естественно бывает бездарно. Наивности вроде Белинского невоскресимы после Достоевского; Мякотин и Пешехонов толкуются на месте только по недоразумению, по незначитанности и неразвитости своей; весь путь русской революции предсказан заранее, или, вернее, рассказан им был наперёд в типах, начиная от Раскольниковова и кончая мальчиком Колею Красоткиным и его товарищами («Братья Карамазовы»); даже «сладогострастники» новейших потаённых кружков им предуказаны в полуистерическом характере Лизы Хохлаковой, в Свидригайлове и Николае Ставрогине, в Мите Карамазове... И, словом, для революции в психологическом и идейном отношении не осталось непройденных путей, новых путей, после Достоевского.

Что же осталось?

Что осталось и после Достоевского?

Красота вещей.

Взмахните крылом так, чтобы и взмах, и полёт, и точка, куда он направлен, представляли неоспоримую ни на чей взгляд красоту, — и тогда летите, куда хотите.

Летите в анархию, летите в небо, летите в Евангелие. Достоевский испепелил своей диалектикой всякое безобразие и открыл полную свободу, безграничную свободу всякой красоте... Но эта красота так высоко лежит, что её никто не умеет взять.

1909

